

# В. А. Соллогуб. Аптекарьша.

-----  
OCR: Pirat  
-----

## I

Уездный город С. – один из печальнейших городков России. По обеим сторонам единственной грязной улицы тянутся" смиренно наклонившись, темносеро-коричневые домики, едва покрытые полусогнившим тесом, домики, довольно сходные с нищами в лохмотьях, жалобно умоляющими прохожих. Две-три церкви – благородная роскошь русского народа – резко отделяются на темном грунте. Старый деревянный гостинный двор – хранилище гвоздей, муки и сала – грустно глядится в огромную непросыхающую лужу. Из двух-трех низеньких домиков выглядывают пьяные рожи канцелярских тружеников. Налево красуется кабак с заветною елкой, за ним острог с брусняным тыном, а вправо, на полуразвалившемся фронтоне, прибита черная доска с надписью:

"Аптека, Apotheke".

В один из тех печальных дней, когда кажется, что небо хмурится на землю, молодой человек сидел у окна одного из этих убогих домиков и сердито курил сигару.

На голове его была надета, по привычке набекрень, щегольская шапочка с кисточкой. Халат его, сшитый в виде длинного сюртука с бархатными отворотами, свидетельствовал о щеголеватости его привычек, а частые струи дыма в то же время ясно доказывали свирепость его душевного расположения.

Внизу на улице, у самого подъезда, стояла коляска без лошадей и почти до оси в грязи: около коляски нехотя сутился камердинер, вынимал поклажу и ворчал что-то сквозь зубы с самой ожесточенной физиономией.

Кругом собралось несколько мальчиков в немом удивлении, а напротив, на полупровалившемся тротуаре, стояла баба с коромыслом на плече и с вытаращенными глазами.

Молодой человек погрузился невольно в самые досадные размышления. "Теперь, – подумал он, – в павловском вокзале готовится иллюминация. Herrmann играет вальсы, галопады и всякие попури; гусарские песенники поют, дамы ездят верхом; мои товарищи любезничают, а я сижу в этой трущобе; теперь наполнен французский театр, m-me Allan играет; товарищи мои слушают и хлопают, а я сижу в этом захолустье! А в субботу, в субботу бал на водах; там и О.. и В.. и Б.; товарищи мои будут с ними танцевать, они будут им улыбаться, будут с ними кокетничать, кокет-ни-чать...

с ними будут!.. А я сижу в этой темнице, в этой ссылке, в этом заточении!"

Вдруг необычный шум на улице остановил порывы его негодования. Молодой человек высунулся из окна.

Под окном камердинер его Яков спорил с каким-то господином в пуховой фуражке и в венгерке с снурками и кисточками, что, как известно, явный признак провинциального франта.

– Я тебя спрашиваю, чья коляска? – говорил франт.

– Я вам сказываю, что господская, – сердито отвечал Яков.

– Да чья господская?

– Ну, говорят вам, господская.

– Да чья же?..

– Ну господская. Всё узнаете, скоро состареетесь.

– Что... что?... Вот я тебя... Да нет, вот... возьми, братец, гривенник, скажи, голубчик, чья коляска?

– Не надо мне вашего гривенника. Любопытны слишком. Ступайте своей дорогой.

– Коляска моя! – закричал молодой человек из окна. – Что вам угодно?

Франт поспешно поднял голову и начал раскланиваться, стоя в грязи:

– Ах! Извините-с. Шел мимо-с. Вижу-с коляску отличной работы-с. Смею спросить: что изволили за нее дать-с?

– Три тысячи пятьсот, – отвечал молодой человек.

– Гм! Деньги хорошие. Смею спросить: с кем имею честь говорить?

– Барон Фиренгейм.